

Георг Гегель

Дени Дидро

Жан-Жак Руссо

Вольтер

ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ

ФИЛОСОФИЯ

Александр
МАРКОВ

Джон Локк

Томас Гоббс

Иммануил Кант

- Антропоцентризм
- Просвещение
- Утилитаризм
- Позитивизм
- Трансцендентализм

Простыми словами про

Александр Марков

**Европейская
классическая философия**

«Издательство АСТ»

2019

УДК 1(091)(4)

ББК 87.3(4)

Марков А. В.

Европейская классическая философия / А. В. Марков —
«Издательство АСТ», 2019 — (Простыми словами pro)

ISBN 978-5-17-108088-4

В этой книге — простое и увлекательное изложение западной философии, которую мы называем классической. Александр Марков не только рассказывает о знакомых нам европейских мыслителях — в его книге классика встречается с неизвестным, и читатель сможет узнать о концепциях философов, имена которых порой незаслуженно забыты. Богатый калейдоскоп — от Аврелия Августина до Карла Маркса и Эдмунда Гуссерля: вы сможете проследить развитие европейской философии от классики до переднего края современной мысли. Вы прикоснетесь не только к привычному западноевропейскому мировоззрению, но и узнаете о работе философов Венгрии, Финляндии, Хорватии и других стран. Для студентов и всех, кто интересуется философией. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 1(091)(4)

ББК 87.3(4)

ISBN 978-5-17-108088-4

© Марков А. В., 2019

© Издательство АСТ, 2019

Содержание

От автора	5
Глава 1	6
Как в Европе появилась университетская философия и какие проблемы она поставила	6
Особенности средневековой философии	11
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Александр Марков

Европейская классическая философия

От автора

Предлагаемая книга – краткое изложение того, как думали философы, которых мы называем западными: от Аврелия Августина до Карла Маркса и Эдмунда Гуссерля до наших дней. Хотя мы ориентируемся на магистральную линию философии, объясняя, что сделал Фома Аквинский, что – Бэкон, а что – Декарт, мы раздвигаем привычные географические границы: из книги вы узнаете, какой вклад в общее дело внесли венгерские, финские, хорватские, греческие, португальские и другие философы. А также мы рассказываем про то, как по сей день продолжаются споры, которые на первый взгляд кажутся достоянием прошлых веков.

В этой книге нет биографий философов, нет их афоризмов и мудрых мыслей, точнее, есть, но только когда этого требует изложение материала. Но в ней есть другое: реконструкция того, почему каждый из философов задумался именно над этой проблемой, что его или ее озадачило, что мучило, и как сомнения и решения одного философа разделялись другим или другой. Изложено это не только по географическому признаку, но и гендерному: много внимания в книге уделено деятельности женщин-философов.

Так что эта книга – не просто краткая (хотя мы постарались не упустить ничего важного) и популярная история западной философии, но учебник мысли. Мысли, которая продолжает тревожить и сегодня; мысли, которая не является просто рабочим инструментом философа, его или ее аргументом, потому что мысль нельзя превращать в инструмент; мысли, которая захватывает философа, становится для мыслителя проблемой. Мы войдем в философию и начнем о ней думать.

Мы убеждены, что такое изложение поможет запомнить особенности мысли каждого философа при подготовке к экзамену.

Некоторые считают, что раз философия – самая строгая наука, то она должна быть изложена сухим языком. Наша книга написана просто и изящно. Насколько это получилось, решать читателю. Вместо долгой аргументации, которая бы захватила не предназначенный ей объем книги, ограничусь словами античного платоника Апулея:

«Я пил и из чаш других в Афинах, из поэтической – фантазии, из геометрической – блеск, из музыкальной – сладость, из диалектической – суровость, но лучше всего из чаши всей философии – потому что она неисчерпаема и наполнена нектаром [т. е. бессмертием]. Эмпедокл пел поэмы, Платон – диалоги, Сократ – гимны, Эпихарм – ритмические произведения, Ксенофонт – исторические, Кратет – сатирические: а ваш Апулей почтил всех десятиерых муз с равным усердием и старанием, возможно, проявляя больше решимости, чем способностей, но ведь именно решимость только и может снискать похвалу»¹.

Мне посчастливилось общаться с теми философами, нашими современниками, на которых я ссылаюсь, или хотя бы переписываться с ними. Без этих встреч книги бы не было. Книгу посвящаю женщинам-философам, знакомство с которыми считаю своим счастьем.

¹ Здесь и далее все переводы с латыни, древнегреческого, новогреческого, английского, немецкого и французского принадлежат автору книги. Квадратные скобки употребляются для пояснений, не принадлежащих оригинальному тексту.

Глава 1

Где живет западная философия

Как в Европе появилась университетская философия и какие проблемы она поставила

В истории западной философии некоторые ее направления, например немецкий идеализм Гегеля и Шеллинга, получили название «классической философии». Основоположник этого идеализма – Кант, который выступает как бы законодателем. А что следует строгим законам, то и классика. Некоторые направления, скажем, эмпиризм, позитивизм, сенсуализм, создавали свою классику – сочинения, в которых это учение излагалось наиболее полно и последовательно.

Средневековая философия – патристика и схоластика – имела свою классику: комментируемые тексты. Так, схоластика комментировала Аристотеля, которого называла просто философ, как мы можем, процитировав Пушкина, сказать просто «по словам поэта».

Обо всех этих эпохах и направлениях мы будем говорить в этой книге, поэтому не надо бояться, если некоторые из названных слов для обозначения философских школ и направлений еще неизвестны. В нужном месте мы объясним все во всех подробностях. Сейчас нам важнее другое: в некотором смысле вся западная философия – классика, потому что в ней не было ни одного сколь-нибудь заметного мыслителя, который не обосновывал бы свои решения так, чтобы другие могли за ним это повторить, воспроизвести, принять его аргументацию как блестящую, а если и поспорить с ним и не согласиться, то лишь потому, что философия в своем познании идет все дальше.

На первый взгляд, ответить, что такое Запад, нетрудно – это земли под властью Римской империи или государств, возникших на ее месте. Становится понятно, почему к Западу относятся Бразилия – бывшее владение Португалии, но не Япония и Южная Корея, при всех их успехах в области наук и технологий. Мы отличаем тем самым наследие Римской империи от наследия Арабского халифата или Японской империи. Но при этом Индию или страны Африки мы не отнесем к Западу, хотя они были колониями западных стран, потому что они и в колониальное, и в постколониальное время создавались как заведомо к Западу не относящиеся. Россия относится к Западу как полноправный участник западной политики, но, если взять искусство большинства регионов России, оно не будет воспринято как западное.

В свое время монголы, восприняв многое от китайцев, принесли нам почтовое сообщение, организованное лучше, чем где-либо на Западе, но эту лучшую организацию мы не назовем западной при всей ее эффективности.

Трудно также отнести к Западу Грузию, Армению, Израиль или христианские общины Ближнего Востока, потому что сразу возникает мысль о том, что в системе производства и распространения знания (или искусства) связывает этот не ярко выраженный Восток с Западом.

Так что же делает Запад Западом?

Если мы посмотрим на университеты Индии или Африки, философский или любой другой факультет, мы увидим, что сходства с Западом там будет гораздо больше, чем различий. Получается, что западная философия – университетская философия. На это найдутся возражения, что некоторые выдающиеся философы, такие как Фичино или Лейбниц, не были связаны с университетами, но создавали собственные академии, или такие как Шопенгауэр и Ницше (о них мы тоже подробно поговорим), которые просто покидали университеты, погружаясь в частную жизнь.

Многие мыслители, начиная с первого античного философа природы Фалеса Милетского до нынешнего президента Франции Э. Макрона, были успешными государственными деятелями, министрами, советниками или даже предпринимателями. И хотя некоторые из них преподавали и даже имели учеников, они не видели необходимости в систематическом преподавании своих достижений.

Выдающиеся русские философы Владимир Сергеевич Соловьев в XIX веке или Алексей Федорович Лосев в XX веке хоть и читали лекции в университете, но не имели свободы в выборе курсов, и ничем не защищенные от нападков коллег были вынуждены делать длительные перерывы. Это происходило из-за того, что в российских университетах не было богословских факультетов.

На Западе свободомыслящие философы могли конфликтовать с богословами, но тем не менее обращались к ним как к арбитрам. Например, для внеконфессионального Хайдеггера была важна позиция крупнейшего богослова Рудольфа Бульмана (1884–1976) по вопросу фактичности евангельских событий.

Большей частью русские философы были вольными лекторами, влияя на аудиторию своими статьями, а не систематическим преподаванием. Это также подвергает сомнению роль университета как средоточия философской мысли.

По-разному могло пониматься место философии и в самом университете. В средневековой модели, просуществовавшей с некоторыми изменениями до начала XIX века (хотя созданные в эпоху Контрреформации коллежи, соединившие черты среднего и высшего образования, были альтернативной университету), философский факультет был подготовительным для трех других факультетов: богословского, юридического и медицинского. Иначе говоря, философия понималась как общее образование, формирующее навыки мышления, рассуждения, исследования, которые потом могли пригодиться в выбранной профессии.

Такое понимание науки сохраняется в современных американских университетах: в них господствует аналитическая философия, в центре внимания которой находится логика. Эта философия настаивает на ограниченности языка для правильной формулировки философских вопросов и на необходимости критической проверки любых суждений. Те, кто учится философии, впоследствии может продолжить обучение в магистратуре бизнес-управления или юриспруденции, поэтому им прежде всего требуется строгая логика и умение обходить те или иные языковые ловушки. Им нельзя принимать особенности языкового выражения за истину, иначе юрист поддастся произвольной интерпретации закона, а бизнесмен неправильно истолкует ту ситуацию, в которой оказался, опираясь на незрелые метафоры.

А в средневековом университете философия включала любые науки о природе, поэтому естественнонаучное знание даже может считаться сейчас частью философского знания.

Фридрих Шлегель (1772–1829), один из основателей немецкого романтизма, считал, что философия, обитающая на высотах духа, должна находиться на вершине университетского образования. Пусть студенты заканчивают разные факультеты, но в конце обучения им требуется курс философии, чтобы понять, что учились они не зря, и изученные ими понятия и ряды мысли имеют отношение не только к их роду занятий и профессиональным интересам, но и к познанию всего мира как такового и общению с этим миром. Отчасти этот идеал реализован в нашей стране: в философскую аспирантуру иногда идут выпускники, которые получили диплом по физике, химии или, например, филологии.

В некоторых странах, например во Франции, высшее образование – это постоянное совершенствование в профессии, поэтому общее изучение философии проходит в старших классах школы. Если кто-то специализируется по философии в университете, то исследуется не какой-то отдельный вопрос, а осваиваются навыки публичной аргументации по разным основополагающим и историческим аспектам философии, чтобы доказать любой комиссии, что ты профессионал высокого класса не только в области дела, но и в области самой мысли. Поэтому

современный французский философ обычно очень эрудирован, умеет выступать перед самой разной публикой, хочет влиять на образ мышления современников и даже на политику.

В большинстве стран Европы философия – университетская специализация: выпускники философских факультетов становятся преподавателями, консультантами или писателями. Но это не значит, что студенты других факультетов проходят мимо философии. Они слушают или философские курсы, или курсы по другим дисциплинам, связанным с философией: это может быть общая психология, теория кино или методы изучения истории.

Студенты технических специальностей вполне могут выбрать, скажем, историю науки в контексте истории культуры, философию природы или практику ведения диалога. В России студенты любых специальностей слушают курс философии, хотя его содержание может и не охватывать всех философских вопросов. Обязательными частями такого курса являются краткая история мировой философии, включая восточную; основные проблемы философской теории, как они были сформулированы классическим немецким идеализмом (дух и материя, сознание и самосознание, мысль и язык и другие), а также современная философия науки.

В некоторых странах, например в Германии, философские факультеты рассматривают себя как мост между естественнонаучным и социальным знанием: только философы смогут достаточно уверенно отличить, чем законы природы отличаются от законов общества. В Великобритании философия понимается как отчасти экспериментальное знание, производящее эксперименты не только с природой, но и с мышлением. Во Франции особое внимание философии уделяют гуманитарии: философия учит добиваться целей при обладании минимумом ресурсов: когда у тебя нет ни лаборатории, ни производства, а есть только бумага и карандаш и умение выступать перед публикой.

Но какой бы ни была модель философского образования в университете, никогда влияние философа не ограничивается его или ее непосредственными учениками, оно распространяется косвенно на весь университет. Это может быть живой интерес коллег к достижениям философов, может быть определение структуры программ и даже устройства досуга студентов, может быть постановка острых вопросов для дискуссий или влияние на культуру дискуссий во всем университете. Как бы там ни было, университет оказывается главным местом для философии, ее домом и ее лабораторией. Именно в университете философия становится «западной», даже если это философия Конфуция или Ибн-Сины (Авиценны) – она становится предметом формулировок, обсуждения, пересказа, спора, применения. Она уже не просто благоговейно передается от учителей к ученикам и определяет образ жизни, она становится частью университетской культуры, включающей и спор, и убеждение, и удивление, и сомнение.

Мы уже упомянули выражения вроде «философия Конфуция» или «философия природы», или «философия права». Такие выражения понятны в контексте западной философии, но были бы непонятны в античной (и той части средневековой философии, которая прямо наследует античную) или в арабской философии. Для нас это разделы философии: эта наука настолько могущественна, что вобрала в себя учения Платона и Конфуция; что может изучать право и искусство как отдельные разделы; ей подвластны даже философия человеческих отношений или сложных социальных систем. Везде философии есть что сказать. В античности эти выражения были бы поняты иначе: философия права означала бы не философское теоретизирование о праве, но способность права быть философским, стать носителем философии; как и, например, философия политики означала бы не взгляд философа на политику, а способность строить политику на философских основаниях, как это было у Платона. Философией человека назвали бы не исследование человека, а способность каждого из нас жить жизнью философа: именно в этом смысле «философией» в христианских кругах могли называть добродетельную или монашескую жизнь. Тогда как университет со своими лекциями, дисциплинами, исследовательскими программами навсегда изменил смысл слова «философия».

В отличие от других средневековых корпораций со своими цеховыми секретами, университет был открытой корпорацией, доступной для всех, кто смог сдать экзамен. Так, университет стал первым местом научной публичности. Потом эта публичность далеко не всех радовала: например, для ренессансных гуманистов она была грубоватой, а для королевских дворов новой Европы – слишком консервативной. Поэтому как альтернатива университетам создавались разные академии, как более свободные научные кружки, где можно было вести себя смелее, чем в университете.

Скажем, в Италии академии часто носили шуточные названия, например Академия отрубей во Флоренции, созданная в 1583 г. Они имели свои обычаи и ритуалы. А Лондонское королевское общество, открытое в 1660 г., оказалось в авангарде новых естественных наук, признавая не авторитеты, а только эксперимент. Кому не нравилось, что в университетах учат по книгам, те создавали академии и лаборатории. Созданная в 1887 г. лаборатория Луи Пастера, как показал ее современный нам историк науки Бруно Латур, имела успех не потому, что получила хорошие результаты в борьбе с болезнями, но потому что была устроена не как университет, а как бюро, и поэтому легко взаимодействовала с государственной бюрократией. Но важно, что университет был публичным пространством; а что это такое, поясню одним примером.

В 2000-е годы одна молодая исследовательница написала про торговые центры как публичное пространство: туда может прийти кто угодно, найти себе досуг по душе и просто пообщаться, ничего не покупая. На это старший коллега возразил, что торговый центр вовсе не так свободен – он рассчитан на то, чтобы люди покупали, заманивает их в ловушку и контролирует их перемещение и совсем уж неудобен для свободного общения: и стулья расставлены, и освещение поставлено так, чтобы посетители общались недолго, а шли бы, скорее, за покупками. По сути, оба правы, просто смотрят на вопрос под разным углом, исходя из личного опыта или опыта своего города. Для молодой исследовательницы важно, как молодежь может присвоить себе чужое пространство, скажем, сесть за столики, предназначенные только для еды, и начать переписывать конспекты друг друга. А для старшего ее коллеги, давно уже преподавателя, важно, что есть нормы дисциплины везде – и в университете, и в торговом центре. Только в университете они подчинены поиску истины, а в торговом центре – коммерческим задачам этой организации.

Заметим, что для обоих оппонентов торговый центр – место, где могут появиться студенты, и о студентах они думают больше, чем о других посетителях, только по-разному понимают отношения между студентами и этим пространством.

Средневековый университет, бесспорно, был публичным пространством, самым открытым местом в городе, где можно было встретить студентов из любых стран и краев, любого происхождения и воспитания. Единство этого публичного пространства поддерживалось культурой диспута: средневековые диспуты на защите диссертации или же между профессорами могли длиться несколько дней, хотя чаще не больше дня – по библейскому завету примиряться до заката солнца. На диспут мог прийти кто угодно, как и на лекции, то есть чтения: в такой открытости профессоров окружающему миру опять же видели выполнение требования апостола давать ответ о содержании веры любому спрашивающему.

Об университете как о публичном пространстве говорит слово «кампус», впервые употребленное в Принстонском университете, созданном в 1746 году в Америке. Кампусом, буквально лужайкой, в древнем Риме называли центральную часть Форума: на Форуме находилось множество храмов и лавок, а центральная часть была свободна, и там могли проходить любые обсуждения и дискуссии. Так и в Принстоне: в центре корпусов различных факультетов был кампус, где представители разных специализаций могли сойтись и обсудить вопросы, как научные, так и административные.

Итак, университет – не просто место, где одни учатся, а другие учат. Это место «современности» в том смысле, что любое знание не существует только как когда-то полученный

вывод, но как то, что может быть употреблено прямо здесь и сейчас независимо от того, как задумывал употребление этого знания тот, кто его добыл. Чтобы пояснить эту мысль, приведу еще один пример. В одной дискуссии профессиональный искусствовед возмущался комментарием знатока искусства, восхищавшегося воздействием эффекта прямой перспективы в ренессансных произведениях. Профессионал указывал, что для ренессансного живописца важны сюжеты, тогда как перспектива остается служебным техническим приемом. Благочестивый живописец думал о Благовещении, а не о схождении точки на горизонте.

Но можем ли мы сказать, что в произведении искусства есть только то, что даже не вкладывает, а просто оценивает в нем художник? Или все же наша современность, в которой мы задеты данным произведением искусства, тоже имеет значение? В университете во все века существовали «антикваристы», консерваторы, допускавшие для вещей только те смыслы, которые в них вложены с самого начала, и «модернисты», творческие люди, смотревшие, как разные смыслы работают прямо здесь и сейчас. Этих людей разъединяет все, а объединяет лишь одно – критическое мышление: ничего не принимается наивно, пока мы не поняли, по каким законам это работает и при каких условиях может существовать, а при каких – нет.

Особенности средневековой философии

Критическое мышление, которое часто называют главной особенностью западной философии, проще всего представить, как умение отличить истинные суждения от ложных, даже если последние имеют вид истинных. Например, суждения «Люди равны от природы» и «Люди неравны от природы» – оба кажутся истинными: они построены одинаково и могут собрать в свою пользу многочисленные примеры и доказательства. Тем не менее первое суждение истинно, а второе – ложно, потому что в первом случае мы имеем дело с устойчивым свойством природы, проявляющимся, скажем, в равенстве всех перед смертью, а во втором случае незаконно связываем два несовместимых понятия, социальной практики (неравенства) и природной жизни, которые не могут быть внутри одного суждения.

Так как все люди приходят к суждениям с различным опытом, общность суждений представляет собой не обобщение опыта или приведение его к какой-то усредненной форме, но отношение, при котором критическое принятие позиции другого оказывается и частью твоего критического мышления. В данном случае человек оказывается и субъектом критики, осуществляя критическое мышление, и объектом критики как способный воспринять предпосылки чужого мышления как задевающие его.

Установление причинных отношений между явлениями – главная задача разума. Различение ума и разума – одно из важнейших положений западной философии. Ум – начало созерцания, ум проникает в сущность явлений, ум позволяет осмысливать общие законы существования. А разум – начало различения, разум позволяет отличить частную закономерность от общей, отдельный случай от повторяющегося, содержание нашего знания от текущей его формы. Поэтому ум можно отождествить с совершенством бытия, а разум – с присутствием, участием в тех вещах, которые он познает, их формулировкой и выражением.

В средневековой философии Бог как совершенный ум понимался и как совершенство бытия, и как совершенство добра и красоты. Для нас эти отождествления не вполне убедительны: мы скажем, что красота относится к ведению вкуса, добро – к социальному регулированию, а бытие настолько несомненно, что никак не зависит от нашего индивидуального или социального опыта. Но для средневековой философии умопостигаемое бытие заведомо содержит в себе «модусы» (способы осуществления) и добра, и красоты. Если Бог карает грешника, то потому, что способ осуществления добра включает в себя и наказание зла.

Именно этим объясняется главная особенность средневековой философии: в ней причины всегда выше и больше следствий. Мы привыкли к тому, что большие следствия получаются из маленьких причин: крошечный вирус причиняет серьезное заболевание, а из простейших форм жизни развиваются все более сложные. В средневековом мышлении не так: Бог как полнота бытия оказывается причиной частных вещей и явлений. Причина – это не просто повод, это основание существования, даже если это основание находится высоко в небесах, оно должно быть тверже, чем то, что на нем основано.

Также иначе в эпоху создания университетов понималась истина. Для нас истина – правильное утверждение или совокупность правильных утверждений. Представить, чтобы истина была живой, деятельной, меняющей мир, нам трудно – разве что мы на основании истины сформулируем норму, согласно которой мы будем преобразовывать окружающий мир. Но средневековая истина – это полнота существования. Бог не просто «есть» как таковой, он «существует» в полноте своего бытия, и это существование и есть истина. Поэтому истина никогда не познается до конца, но при этом Бог познается и познается как истина, и это познание дает счастье познающему. В западном богословии истина оказывалась в чем-то близка аристотелевскому понятию «энтелехия» – окончательный вид существования вещи, а в византийском богословии, в конце концов, была сближена с другим аристотелевским понятием –

«энергия», постоянная деятельность Бога, отличающаяся от сущности и познаваемая при этом как несотворенная, раз познается истина, а не содержание.

Слово «сущность» также нуждается в объяснении. Мы часто отождествляем сущность с содержанием и с родовой принадлежностью. Например, говорим, что сущность апельсина – это что он фрукт. Точно так же мы часто отождествляем смысл с использованием, скажем, говорим, что смысл автомобиля – в том, что мы можем на нем ехать. Но для средневековой философии сущность предшествует делению вещей на роды и виды, а это деление на роды и виды устанавливает смысл, а не сущность. Средневековый богослов или философ сказал бы, что сущность апельсина – в том, что он сотворен Богом, а смысл апельсина – в том, что он существует не в единичном экземпляре, но как вид.

Западные средневековые философы, например Фома Аквинский, строго разделяют «сущность» и «существование». Первое – ответ на вопрос «Что?», а второе – на вопрос «Как?». Например, сущность человека – быть разумным существом, а существование человека – осуществление его разума, способность понимать и постигать вещи. Знание сущности помогает нам отличить одну вещь от другой, тогда как знание существования позволяет понять, как именно эта вещь может и действовать среди других вещей, и вообще быть среди других вещей.

Для отдельной вещи существует слово, которое означает самостоятельное существование: «субстанция» по-латыни, «ипостась» по-гречески, буквально, «состоятельность». Одна сущность может быть у нескольких самостоятельных существований: скажем, людей много, но каждый из них – человек. Сущность Бога одна, но Отец, Сын и Дух существуют самостоятельно, хотя, в отличие от людей, обладающих каждый своими уникальными свойствами, лица Троицы направляют свои свойства друг на друга: если Отец рождает Сына, то Сын рождается от Отца. Иногда как синоним употреблялось слово «лицо»: имелось в виду юридическое понятие правомочного лица, способного самостоятельно действовать, юридической полноты прав, для осуществления которой и нужно быть опознанным как отдельное «лицо».

Но как быть с тем, что, скажем, человек состоит из тела и души? Душа включает в себя и ум, и разум с чувствами, и волю, а тело растет, меняется, умирает. А все очень просто: они не только «связаны» друг с другом, так что только смерть их разлучает, но они находятся в отношении друг с другом, и главное в них – не как им быть, а как им относиться друг к другу. Душа придает телу форму, и когда душа покидает тело, оно утрачивает свою форму, разлагается. И тело оказывается подспорьем души, она чувствует с помощью тела, пользуется телом, и тело позволяет душе жить среди вещей и существовать полноценной жизнью.

Получается, что если душа и тело находятся в некоторых отношениях, то отношения между вещами, не так связанными, определяются уже их принадлежностью к определенной понятийной категории, их интеллектуальным содержанием, способностью вынести о них категориальное суждение: это сотворено, это отдельно, а это бывает. Такое представление о наличии кроме категорий как логического инструмента упорядочивания еще и категориальных суждений (предикабилей), связывающих вещи как способные находиться в какой-то связи, было утрачено в новой философии. Поэтому приходилось вводить разного рода замены: всеобщие законы природы, как это сделал Ньютон; непосредственную волю Бога; чтобы вещи были такими, а не другими, вели себя именно так, а не иначе, как Беркли и Мальбранш; достаточное основание существования, как Лейбниц; «трансцендентальный синтез апперцепции» (восприятие всех вещей связанными как способных себя связать в том числе в нашем понимании), как Кант.

Такой поворот в философии сказан и в науке, когда эксперимент стал главным способом придать суждениям общеобязательность, показать, что они действительно работают и в искусстве, где стала цениться творческая индивидуальность, а не решение задач внутри готового канона. Меняется сам стиль философской работы: из философии нового времени уходит комментарий как постоянное уточнение собственной позиции, напротив, любая фило-

софская позиция должна держаться на собственных основаниях и быть изложена в ярком и убедительном выступлении. Если философ нового времени и пишет примечания, как Гегель, то только благодаря индивидуальной склонности воспроизводить интеллектуальные обычаи прежних эпох, а не в силу профессиональных требований к философу.

На первый взгляд при переходе от средневековой к новой философии мало что меняется: для старой мысли нормативно различие между умопостигаемыми и чувственными вещами, но и Кант различает умственное (ноумен) и чувственное (феномен). Мы и в нашей бытовой речи никогда не спутаем умственное построение и ход событий в окружающем мире. Но для средневековой мысли умственное – высшая реальность, это те вещи, которые любезны уму, любимы им и пробуждают любовь. Даже если это этически дурные вещи, как падшие ангелы или страсти, все равно только любовь может оценить их безобразия.

А у Канта умопостигаемой может быть любая вещь, раз она является предметом не только использования, но и созерцания, опознания ее в качестве вещи. Кант ее так и называет – «вещь в себе», или правильнее было бы перевести «вещь сама по себе», «вещь как она и есть». Никакого ценностного преимущества небесных вещей над земными у него нет. Там, где средневековая мысль говорила о восхождении к высшим сущностям, новая мысль говорит о самих условиях, при которых мы можем познать какие-либо сущности. После Канта философы могли уже спорить, дает ли, например, искусство или правильная формулировка доступ к реальности как таковой, или мы можем располагать только теми данными разума в отношении реальности, которые у нас заведомо есть, но уже нельзя было просто говорить, что высшая реальность настолько ценна, что она становится привлекательна для нас и влечет к себе и возвышает. Можно было такое утверждать, но при одном предварительном условии, что мы полностью разобрались с возможностями и ограничениями нашего познания.

Иначе в новой философии понимается истина: не как достояние реальности и ума одновременно, но как такое отношение к вещам или такое суждение, которое не окажется опровергнутым при дальнейшем развитии этого отношения или раскрытии этого суждения на последующих примерах. Истина старой философии состояла в созерцании, а новой философии – в непротиворечивости самих условий созерцания.

Сразу уточним, что слово «созерцание» в философии никогда не означает просто любопытство или ленивое наблюдение. Напротив, созерцание – напряженное интеллектуальное переживание, позволяющее видеть действия и сами условия этих действий. Только созерцание в старой философии – это созерцание прежде всего действия, происходящего в области вещей разных видов, что с ними может еще произойти, тогда как в новой философии созерцание – исследование самих возможностей вещей стать предметом созерцания.

Средневековую философию иногда называют служанкой теологии, что верно только в одном смысле: теология, она же богословие, понималась не как формулировка готового церковного учения, но как возможность средствами разума созерцать те вещи, которые для философии проблема, а для теологии – непосредственный опыт, такие как милость Божия. Тогда философия созерцала, а теология переходила от созерцания к самому предмету созерцания.

Слово «теология» появляется во времена Платона и означает рациональное учение о богах в противовес мифологии, состоящей из противоречащих друг другу сказаний, отличающихся от одной области к другой и потому не поддающихся непротиворечивой систематизации. Как языческая, так и христианская теология – точная наука, как и математика, она исходит из аксиом (догматов) и на их основании строит теоремы (богословские рассуждения).

Языческая теология была по преимуществу катафатической, выводившей порядок богов из их свойств. Христианство, как и вообще монотеистическое богословие, не могло довольствоваться только катафатикой, одними положительными утверждениями о свойствах Бога, ведь тогда получилось бы, что Бог может быть сведен к отдельным свойствам, каждое из которых принадлежит порядку сотворенного им мира, а значит, не может передать всемогущество

Творца. Так появилась апофатическая теология, задача которой – сказать, чем Бог не может быть. Если мы говорим «Бог вечен», то это еще катафатическая теология, мы приписываем Богу какое-то свойство, которое как-то сами постигаем и классифицируем, и значит, чтобы наше высказывание было достаточно почтительно к Богу, мы должны понимать, что мы работаем с некоторыми знаками, и знак «вечность» помогает лучше постичь Бога как еще и всемогущего создателя, а не только вечно существующего. Тогда как если мы скажем «Бог выше всякой вечности и всякого времени», мы окажемся уже в апофатической теологии, отрицающей любые готовые знаки и постигающей Бога с помощью символов и образов, которые отрицаются. Вечность и время оказываются двумя сторонами одного поэтического образа, но от обеих сторон надо отказаться, чтобы непосредственно созерцать Бога. Приведем обоснование катафатической и апофатической теологии неоплатоническим христианским философом, последователем Прокла, выдававшим себя за ученика апостола Павла Дионисием Ареопагитом:

«Помолимся, чтобы мы из над-бытия пропели гимн Тому, кто над бытием, вычитая любое бытие: как творящие талантливую статую, вычитают всё прибавочное как препятствие к чистому рассмотрению сокровенного. Только при таком вычитании сокровенная красота начинает себя показывать.

Нужно, думаю, такие отрицания воспеть за счет утверждений. Когда мы утверждаем, мы начинаем с первичного и через среднее доходим до окончательного, до самого низа. А когда мы отрицаем, мы идем от самого низа к первичным началам, чтобы постичь то неведение, которое скрыто во всяком бытии за известным всем, – и тем самым постичь тот мрак над всяким бытием, который скрыт от нас светом, лежащим на всякой вещи бытия.

(...) Почему, спросишь ты, утверждения о Боге мы начинаем с первичного, а отрицания о Боге – с самого последнего? Потому что утвердительное положение убедительно начнется ближе всего к превосходящему всякое возможное утверждение. А отрицание чего-либо в превосходящем всякое отрицание убедительнее всего начнется с отрицаний самого далекого. Разве Бог не в более величественном смысле жизнь и добро, чем он воздух и камень? И разве не лучше начать с того, что Бог не пьянеет и не сердится, чем что не говорит и не мыслит?

Вообще не для нее [Причины – это слово выступает как имя Божества] утверждение или отрицание; и если мы творим ей утверждения и отрицания, мы ничего не прибавляем и не отнимаем – потому что она выше всякого утверждения, как совершенно неповторимая причина для всего, но и выше всякого отрицания, как превосходящая своей отрешенностью совершенно всё, запредельная всему».

Греческое слово «ересь», латинское «секта» означало в античности философскую школу или вообще публику, толпу приверженцев, а главное, людей, ведущих сходный образ жизни. Утверждение христианского правоверия против «ересей» имело в виду прежде всего последнее значение: в сравнении с требованиями правоверия эти образы жизни, даже при всей добродетельности, казались очень частными, как будто не имеющими будущего. Разумеется, в книге по философии нет места обсуждению церковной политике. Но когда Фома Аквинский порицал учение Аверроэса (Ибн-Рушда) как ересь, хотя Ибн-Рушд никогда к христианству не принадлежал, имелась в виду подмена общего частным: для Фомы учение о «двух истинах», о том, что логика богословия отличается от логики естественных наук, означало, что любое знание замыкается в частности своих положений.

Философия во многом определила книжную культуру Запада. В античности тиражировать книги было нетрудно: достаточно было посадить рядом сто грамотных рабов, и под диктовку они писали сто экземпляров. В средние века книга писалась для употребления в монастыре, светской корпорации, объединенной вокруг своего церковного здания, а позднее в университетской корпорации. Тогда каждая книга была уникальна, как уникально любое монастырское и вообще церковное имущество. Тираж такой книге был не нужен, но нужны были философские традиции вдумчивого чтения, обсуждения, комментирования.

Первый кризис эта система испытала в эпоху Возрождения. Новая культура передвижения по миру потребовала карманных книг, библиотеку стало возможно возить с собой. Значит, книга перестала быть принадлежностью корпорации, неотделимой от традиций ее бытия, а становится предметом индивидуального пользования. Навстречу легконогим итальянцам идут германцы, изобретшие книгопечатание: хотя первые печатные книги мало чем отличались от рукописных по размерам и оформлению, само тиражирование книг означало, что книга может появиться где угодно, что создание книги уже не ремесленное, а интеллектуальное действие, импровизация, а не наследование готовым традициям чтения. Уже здесь появляется такая особенность новой философии, как понимание мышления не только как системы созерцания, но и как системы действенных импровизаций.

Первым признаком возникновения новой философии стало расширение круга авторитетных книг. Для деятелей Ренессанса Марсилио Фичино или Пико делла Мирандола Платон или древнеегипетская мудрость были не менее авторитетны, чем библейская. Появляется понятие «первоначальное богословие» – простых утверждений о Боге, которые объединяют все религии и оказываются первой общей мудростью человечества. Учение о первоначальном богословии позволяло примирить противоречия между авторитетными книгами, заявив, что любая книга важна как самостоятельное толкование этого первичного богословия, и преимущество Библии – только в том, что она оказывается не только предметом, но и инструментом толкования.

Точно так же Ренессанс понял и античное литературное наследие: оно было важно и как инструмент, позволяющий оценить неурядицы современной политики, и как предмет, вокруг которого можно выстроить другие предметы, в амбициозном проекте сделать современность величественной. Как и в идее первоначального богословия, так и в идее восстановления классической литературы прежнее средневековое соответствие всех вещей, когда любая вещь может оказаться знаменем исторических событий, корни которых в библейском назывании вещей, оказывается заменено непреодолимым различием подлинного и неподлинного. Подлинное – это древнее, так как оно переживает собственный опыт как существенный, тогда как домыслы, догадки, сопоставления чаще затемняют дело, чем проясняют его.

В старой средневековой философии понятие о языке было только как о физиологической способности, так же отличающейся у разных народов, как особенности телесной пластики или кулинарные привычки. Ведь все вещи в мире указывали друг на друга, как часть библейского мира, оказавшаяся прямо здесь, и в этом смысле и создавали язык для понимания Библии, а через Библию – происходящего вокруг. Как только появляется современность, появляется и язык, то есть способность произвести смысл прямо здесь и сейчас, из подручных материалов, не привлекая все вещи, которые копились предшествующие века.

Слово «современность» (*modernitas* и его производные в разных европейских языках) появляется сначала просто как указание на авторов того времени в противоположность античным. Но если говорить совсем просто, современность – это время, когда факт имеет свою структуру, независимо от того, какое положение он занял в отношении библейской истории или мировой истории. Современность – это необходимость принять факты как таковые, не видя в них лишь знаки того, что повторяется или что закономерно наступило, в том числе принять факты как нечто совершенно уникальное и неожиданное. Даже если приверженцы «первоначального богословия» истолковывали древние тексты как символические, все равно они подражали этим текстам как совершенным, воспроизводя их, подражая им, подражая древним богословам так же, как древним ораторам. Именно поэтому ренессансная мистика полюбила поэзию: ведь поэзию в средние века привыкли толковать иносказательно, а теперь иносказания можно было превратить в доказательство сродства этих поэтических текстов с богословскими текстами, и использовать и те, и другие для совершенного истолкования отдельных фактов.

Конечно, тогдашние философы вполне понимали, что любой текст создается в определенное время и в определенном месте. Но само это время и место было лишь рамкой для факта, который нужно было толковать во всей его убедительности, чтобы и современная история стала убедительной. Этот проект был вполне эффектен, пока все искусства были объединены в каком-то едином зрелище. Но уже для Леонардо да Винчи языки разных искусств становятся непереводаемыми. В его «Споре между поэтом, живописцем и скульптором» ни один из участников не может сказать все и сразу: живописец может показать вещь целиком, но не в движении, а поэт может показать вещь в движении, но его описание идет от одной детали к другой и никогда не схватывает целого. Преимущество живописи оказывается в том, что она может представить множество вещей единомоментно, и отсюда уже путь к философии Декарта, понимающей познание как мгновенное схватывание очевидности в качестве наиболее убедительной картины вещей, чему соответствует открытие прямой (геометрической, воздушной) перспективы в живописи и военном деле. Перспектива позволяет уже не столько наблюдать за явлениями, вписывая их в готовый опыт, сколько моделировать в том числе неготовый опыт, опираясь на известные или предполагаемые свойства вещей. А что происходит дальше, этому посвящены уже следующие главы нашей книги.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.